



## Марина САБИНИНА

### Мозаика прошлого

#### *Как нас перевоспитывали*

1948 год, конец февраля... Уже уволены главные профессора-формалисты — Шостакович, Шебалин (взамен которого ректором Консерватории назначен А. В. Свешников, хормейстер). Уже состоялось общеконсерваторское собрание в Большом зале, где ораторы сыпали цитатами из Постановления ЦК КПСС от 10 февраля 1948 года, бичевали «антинародное направление», пламенно присягая на верность «социалистическому реализму»; лишь несколько анонимных записок, посланных в президиум (но, разумеется, не зачитанных вслух), да еще неясные, но определенно сердитые, насмешливые восклицания с галерки внесли легкий оттенок диссонанса в казенную торжественность «мероприятия». А сейчас специально собрали нас — студентов теоретико-композиторского факультета, — чтобы покрепче внедрить руководящие идеи в наши бедные головы, отравленные заразой «формализма».

Класс № 21. Здесь обычно проходили общекурсовые лекции по истории партии, марксизму-ленинизму, и народу бывало полным-полно, сегодня же — сравнительно немного, ведь наш факультет самый малочисленный. Но обстановка — подчеркнуто официальная, как на массовом митинге: длинный стол на возвышении, суровые лица членов президиума, которые один за другим поднимаются на трибуну. Сперва все идет удивительно неинтересно, сидим тихие, скованные и слушаем невнимательно. Что-то лозунгово-трескучее произносит Клавдия Успенская — преподавательница, известная своей малограмотностью (бывшая комсомольская активистка-рабфаковка и РАПМовка 20-х годов; ныне она преподает историю советской музыки и вечно ошибается, путая Мясковского с Прокофьевым или Шостаковичем и т. д.). Солидный ученый Ю. В. Келдыш, историк, автор учебника по русской музыке с древнейших времен, нудным,

бесцветным голосом выговаривает стандартные фразы о мудрости и полезности Постановления. Кто еще, кто после кого — помню плохо, не помню, например, выступал ли в тот вечер Кирилл Молчанов<sup>1</sup>, прославившийся замечательно эффектным интервью, опубликованным центральными газетами: «Наконец-то я чувствую себя творчески свободным и счастливым, у меня теперь от радости *душа поет...*»

Переломным пунктом явилась речь нового, только что назначенного секретаря партийного бюро Консерватории Семенова, человека с простецким, грубоватым лицом и на редкость некультурной фонетикой, не то кларнетиста, не то фаготиста. Ему сразу удается пробудить аудиторию от апатии, и когда он воинственно объявляет, что если бы Постановление не навело порядок, музыка могла прийти до полного безобразия («Этак ведь *всякий* Шостакович, *всякий* там Прокофьев будут писать, как хотят!») — зал буквально взрывается.

Герман Галынин, ярко талантливый ученик Шостаковича, обожающий Учителя, парень стихийно необузданного нрава, пытается вскочить с места, его жена Наташа Шумская и я, сидя по бокам, с двух сторон виснем на нем. — «Куда ты?» — «Пустите! Я его (т. е. Семенова) убью!!» У меня есть некоторый опыт обращения с субъектами неуравновешенными, и я деловито спрашиваю: «А чем ты станешь его убивать?». — «Стулом!!!» — яростно вопит Герман, пробуя выдернуть стул из переднего ряда; к счастью, ряды стульев накрепко соединены между собой и «убийство» не получилось, но Герман продолжает кричать и биться в наших руках. А сзади, вцепившись в спинку моего стула, ее изо всех сил дергает Леля Калужский — фронтовик, контуженный, как правило, тихий, замкнутый — сейчас он истерически выкрикивает: «Долой! Долой!», и трясется, словно в нервном припадке.

Дальнейшее слилось в памяти в сплошной хаос. Гул, топот ног, буйная массовая истерика, президиум не в силах ни перекрыть аудиторию, ни успокоить ее. Вернулась я домой совершенно ослабевшая и охрипшая, видимо, тоже орала до изнеможения, повредила голосовые связки и дня три не могла говорить, только шептала.

Надо полагать, собрание это убедило начальство в распространенности опасных настроений среди студентов факультета, а значит — необходимости неких серьезных «воспитательных» мер. Историко-теоретикам выпускные экзамены отодвинули на осень, дабы срочно выправить «ошибки», допущенные в дипломных работах, и привести дипломы в соответствие с мудрыми тезисами Постановления. Композиторам, особенно бывшим ученикам Шостаковича, труднее: им следует подготовить к выпуску новые *реалистические* опусы,

желательно кантаты или программные симфонические произведения, потому их задерживают на год или два, передав от уволенных «формалистов» педагогам, которых не коснулась кампания разгрома. (Наилучший вариант — профессор Ю. А. Шапорин, автор многих чудесных романсов на стихи Блока и Пушкина, но ленивый, барственный, поручавший своим студентам и аспирантам писать фактуру и оркестровку его собственной монументальной оратории «Доколе коршуну кружить» и оперы «Декабристы».) Хуже всего, понятно, досталось ребятам наиболее одаренным — Галынину, Борису Чайковскому. Интереснейшую одноактную оперу Бориса «Звезда» охали и зарубили: мало того, что в ней проявилось «вредное» влияние Шостаковича, — ее либретто было основано на повести опального литератора Эммануила Казакевича, и заканчивалась опера трагически, что тогда расценивалось как «пессимизм», немислимый при изображении событий Великой Отечественной войны. Галынин, правда, «реабилитировал» себя «Эпической поэмой» (1950), где удачно использовал подлинные фольклорные темы, она удостоилась Сталинской премии; но травма, пережитая в 1948 году, определенно ускорила развитие его психической болезни, и в начале 50-х он превратился в настоящего шизофреника. Кстати, в ту пору, после войны было немало случаев (в том числе у моего двоюродного брата) «ситуационной шизофрении», годы спустя вылеченной.

Легко адаптировались наименее даровитые. Так, мой сокурсник из класса В. Я. Шебалина, Степа Григорьев, поспешил снять со стены над своей койкой в общежитии портреты прежних кумиров — Шостаковича и Прокофьева, уверяя, будто и раньше любил и уважал не модернистов-формалистов, а русских классиков XIX века. (Забавный факт: когда весной 1949 года в Большом зале исполнялась его дипломная кантата в честь КПСС, я чуть не расхохоталась, услышав хорошо знакомую мне музыку, года три назад написанную им для домашнего капустника. Разные капустники процветали в нашей группе, а этот был посвящен организации «добровольного спортивного общества старых дев» и текст шуточного гимна начинался так: «Славься, спортобщество дев престарелых, ныне и присно, во веки веков!». Теперь, заменив слова, композитор умудрился точно сохранить мелодию, аккордовую фактуру, даже тональность ля-бемоль мажор, хотя гимн наш крайне торжественно зазвучал в исполнении хора и оркестра — не хуже и не лучше, чем в большинстве тогдашних парадных кантат...)

Но эхо тех февральских событий 1948 года надолго застряло в нас и откликнулось июньским вечером 1949-го. Досыта наслушавшись

музыки Шостаковича в собственном исполнении, горячо взволнованные, мы вдруг решили «поприветствовать» героев, выступавших на том собрании, и уже под утро стали звонить домой Успенской, Келдышу. Сиплыми голосами говорили в телефонную трубку всякие нехорошие, бранные слова, пока «герои» не прекратили отзываться и телефоны не умолкли.

Глупое, бессмысленное озорство, хулиганство? Нет, скорее глубокая, неукротимая потребность эмоциональной разрядки, жажда хоть как-то выплеснуть свой гнев, протест за оскорбленного гения.

### *«Ужасно люблю чистить картошку»*

Зима 1949 года. Мои приятели-сокурсники — Ростислав Дубинский, Нина Маркова-Баршай, Рудольф Баршай и Валентин Берлинский (тогда — квартет Московской филармонии) — вздумали отпраздновать пятилетний юбилей своего ансамбля. Где? Живут все они очень стесненно, например, у четы Баршаев (плюс маленький сын Левочка и нянька) — комнатка 8 кв метров; Валя и его старший брат, горбун, человек больной, нервного, тяжелого характера, вместе с родителями ютятся в комнате около 15 кв метров. На этом фоне я — богачка, так как мы с мужем и дочкой располагаем двумя комнатами. Значит, «банкет», естественно, затевается у меня, у меня же они иногда и репетировали. Договорились, что мамы и родственники принесут еду, кто какую сможет, я сделаю грандиозное количество картофельного салата и испеку капустный пирог.

Гостей приглашали сами юбиляры, кого именно — мне неизвестно, неизвестен и точный час: приблизительно к 9-ти или к 10-ти вечера возможно и соберутся... Рассудив таким образом, легкомысленные эти ребята отправились куда-то на концерт, подработать, и в 9 часов их ни слуху, ни духу. Заключаю, что сборище отодвинули на более позднее время и спокойно чищу картошку, сидя на кухне в затрапезном старом халатике. Рядом сидит соседка (после ареста отца моего мужа квартира — в так называемом «доме героев», в одном подъезде с Прокофьевыми — превратилась в «коммуналку»), милейшая женщина, простая, но умница и добрая, мы очень дружны.

В дверь квартиры звонят, прошу ее открыть, поскольку руки у меня заняты, липкие, грязные. Она идет, кому-то открывает и тотчас вбегает обратно в кухню, размахивая руками, словно испуганная птица крыльями, с паническим, приглушенным воплем: «Шоста-

ко-о-о-вич! По карточке узнала!!!» (Фото Дмитрия Дмитриевича висит над диваном в нашей большой комнате.)

И правда, в передней, у вешалки мнется смущенный, несколько растерянный Шостакович. Прошу его раздеться и в ужасе гадаю — что мне с ним делать, как быть дальше. Видимо, сразу уловив ситуацию, Дмитрий Дмитриевич долго извиняется. «Извините, ради Бога, понимаете, всюду, всюду прихожу не вовремя, всегда раньше, чем надо. Вы чем-то были заняты?» — «Чищу картошку». — «Это прекрасно, это просто замечательно, ужасно люблю чистить картошку, я хорошо умею ее чистить, разрешите я вам помогу!»\*. Тут он даже воодушевился, заулыбался, застенчивость исчезла. «Давайте, давайте сюда картошку!»

Но на кухне полный беспорядок, вести его туда немыслимо, и я вытаскиваю таз с вареной картошкой в комнату, прибранную для приема гостей, пока совсем пустую. Садимся на диван, Дмитрий Дмитриевич начинает довольно ловко орудовать ножом, приговаривая: «Отличное занятие, отличное, успокаивает нервы, да-да, отличное и полезное!». Рассказывает какие-то забавные пустяки, шутит. Картошка готова, время бежит. И когда наконец появляются шалопаи-устроители вечера, а за ними и другие гости, Дмитрий Дмитриевич деликатно, торопливой скороговоркой сообщает, что ему пора уходить: «К сожалению, непременно надо, непременно, простите, пожалуйста». Так он и ушел, не пригубив ни одной рюмки, поскольку стол еще не был накрыт.

После этого оригинального визита он, встречаясь, здоровался и беседовал со мной, как со старой доброй знакомой.

А о том, *чем* был для нас Шостакович, свидетельствует запоминающийся эпизод весны 1949 года. Пришли квартетчики, которые уже выучили все три его струнных квартета, но особенно любим в нашей среде был, конечно же, Третий; Карен Хачатурян принес новый, недавно заверченный и еще никому не знакомый цикл Еврейских песен, рукопись; позвали моего соседа — Генриха Густавовича Нейгауза. И все вместе, сообща, начали с листа исполнять эти песни, упиваясь гениальностью музыки. Пели долго, никак не могли остановиться. Когда расходились, за окном сияло раннее утреннее солнце, но восторг и волнение помешали заметить, как пролетела ночь.

---

\* Как известно, Шостакович в первые недели войны упорно добивался, чтобы его записали в народное ополчение, а получив категорический отказ (сильная близорукость и т. д.), молил: «Возьмите хоть помощником повара, буду картошку чистить!»

### Человек, который говорит о яичнице

Зима 1949/50 года. Фойе Малого зала консерватории. Вечер, у меня назначено свидание с кем-то из приятелей, сижу на банкеточке-скамейке напротив гардероба. Появляется Дмитрий Дмитриевич, осматривается вокруг, явно кого-то ищет и не находит; увидев меня подошел, здоровается приветливо: «Вы кого-то ожидаете? Да? Я тоже, давайте будем ждать вместе, хорошо?»

Удивительное дело — таким веселым, озорным, как в этот вечер, он теперь бывал редко, а в стенах консерватории, откуда его совсем недавно с позором выгнали, это было тем более удивительно. Мимо нас к гардеробу потянулась чинная процессия: это только что закончилось заседание Ученого совета, и профессора, преподаватели расходятся по домам. И вот Дмитрий Дмитриевич принялся передразнивать важные, чопорные или угодливо-лакейские повадки, манеру речи, мимику отдельных профессоров, имитировать с блестящим комизмом, разыгрывая целые сценки в лицах. (Говорят, в юности он обожал подобные шутки, но здесь, сейчас?)

Прошествовало несколько всем известных музыковедов, видимо, изрядно презираемых им за беспринципность, необыкновенную легкость смены взглядов, конъюнктурщину, а то и бездарность, пустой педантизм. Зрелище это вызвало забавный рассказ-новеллу.

— Однажды мальчишкой явился я на урок к моему покойному учителю, Леониду Владимировичу Николаеву домой. Как почти всегда в те годы — голодный, тощий. И Леонид Владимирович скомандовал своему племяннику: приготовь-ка для Мити яичницу. Тот повиновался, и пока я ее ел, Николаев начал рассуждать: «Ты подумай, Миша жарил, ты ешь, но приходит некто третий, который сам не умеет приготовить яичницу, да и не голоден, приходит только затем, чтобы *поговорить о яичнице*. Это — музыковед, единственная задача и цель которого заключаются в разговорах о *сути* яичницы. Кому он нужен? Тебе, голодному, или Мише, который ее жарил? Абсолютно никому».

Понятно, тирада была адресована нашим консерваторским болтунам, а не профессии в принципе. Соллертинского ведь Шостакович глубоко почитал, многое от него воспринял. Но 1948–1949 годы способны были возбудить отвращение, гадливость, если не ненависть к музыковедческому сословию, усердно осуществлявшему травлю «формалистов»...

### Инцидент с оперой «В грозный год»

1953 год. Т. Н. Леонтовская, работающая в Управлении музыкальных театров, приносит в редакцию журнала «Советская музыка» хвалебнейшую рецензию на только что поставленную в Саратове новую оперу некоего Г. Крейтнера<sup>2</sup> под названием «В грозный год». Восторги непомерные — народные сцены якобы успешно развивают традиции Мусоргского, лирические — традиции Чайковского и т. п. Словом, крупное и очень яркое событие. Крейтнер известен показанной в Москве слабенькой, крайне эклектичной, приторно-сентиментальной оперой «Таня» (по пьесе Алексея Арбузова), и нашему главному редактору, Георгию Никитичу Хубову, оценка «Грозного года» кажется сомнительной, он предлагает вызвать авторессу, просить несколько убавить пафос. Леонтовская упрямится, а статейка ее написана прескверно («Сопли и вопли!» — изрекает свою любимую поговорку Хубов).

Что делать? Отделом музыкального театра журнала заведуя я, потому обязана съездить в Саратов, послушать и посмотреть оный «шедевр». Еду, слушаю — возмутительная дрянь, аляповатая мелодрама, либретто кое-как скроено из ранней, неистово-романтической повести Лермонтова «Вадим», причем насильственно акцентированы «бунтарские» черты героя, его «народолюбие» и, разумеется, всунуты эпизоды народного мятежа, восстания. Возвращаюсь злая, ругательски ругаю оперу. «Вот вы сами и напишите», — безапелляционно заявляет Хубов. — «Могу только резко критически!» — «Пожалуйста!».

Поручение меня бесит: рецензировать не собиралась, партитуру в руках не держала, а бранить велено аргументированно; нотные примеры заимствую у Леонтовской, слава Богу, их там много.

Статьеку накропала спешно, и текст, как полагается, разослала членам редколлегии журнала. Неожиданно в кабинете Хубова появляется... Шостакович, который настойчиво, категорически требует *не печатать* статью Сабининой, твердит это в моем присутствии. Шеф, по натуре азартный полемист, доволен: «Превосходно! Мы ее опубликуем, а вы выразите свое мнение, опровергайте, если не согласны». — «Нет, нет, вообще не надо печатать!».

Крайне удивленная, расстроенная и надутая, я удаляюсь в нашу общую рабочую комнату, оставив их вдвоем. Вскоре в дверь заглядывает Дмитрий Дмитриевич: «Марина Дмитриевна, нельзя ли вас на минутку, поговорить? Только пойдете, пожалуйста, куда-нибудь, чтобы побеседовать без посторонних». Единственное возможное

место — крохотный чуланчик-закуток около Секретариата Союза композиторов, туда мы и прячемся. Хмурый, какой-то потерянный он говорит:

«Вы, должно быть, обиделись, рассердились? Пожалуйста, пожалуйста, не обижайтесь, не принимайте всерьез!» — «Помилуйте, Дмитрий Дмитриевич, не в обиде дело, для меня все это очень серьезно. Я преклоняюсь перед Вами, и если Вы считаете, что я грубо ошиблась, не способна отличить черное от белого, талантливое от бездарного, значит мне надо немедленно бросить профессию музыкального критика, значит, я просто не имею на нее права», — «О нет, прошу вас, не думайте ничего такого, не обращайтесь внимания!» (Лихорадочно мнется, хватает мои руки, целует и, выпалив скороговоркой: «Простите, простите меня», — убегает.)

Через два-три дня шефу доставили бойкую, по-журналистски развязную статью в защиту Крейтнера, подписанную именем Шостаковича, хотя и ребенку было ясно, что он к этому тексту не прикасался. Скорее всего, настроил сам Крейтнер. Журнал опубликовал оба текста (мой и якобы принадлежащий Шостаковичу), а затем еще мой ответ Шостаковичу\*. Читатели недоумевали: где истина, чего ради Шостакович так горячо поддерживает Крейтнера, полудилетанта, человека с темной биографией?

Истина раскрылась для меня позднее, когда один из достаточно близких в те годы к Дмитрию Дмитриевичу музыкантов (талантливый композитор, ученик Мясковского) подробно рассказал мне и о Крейтнере, любившем хвастаться своей причастностью к органам безопасности, носившем оружие, которым будто бы собственноручно приканчивал «врагов», и о тайных, закулисных пружинах вышеизложенного инцидента. Оказывается, Крейтнер, каким-то образом (может быть, от Леонтовской?) выведал насчет готовящегося разноса его оперы и предпринял контратаку: пригрозил тюрьмой Л. Т. Атовмяну<sup>3</sup>, если он, Атовмян, не добьется, чтобы Шостакович воспрепятствовал публикации моей рецензии. Особенно солидных материалов, чтобы посадить человека в тюрьму, в 1953 году еще не требовалось. Атовмян, в период войны возглавлявший Музфонд, а следовательно занимавшийся распределением разных материальных благ, мог допустить какую-нибудь юридическую оплошность, и матерому доносчику было нетрудно его скомпрометировать. Короче говоря, Атовмян смертельно испугался и на коленях вымолил Дмитрия Дмитриевича спасти, пожалуй его детей...

\* См.: Сов. музыка. 1953. № 6.

Не знаю, все ли детали рассказа строго достоверны, но суть абсолютно правдоподобна. Атовмян и в самом деле помогал семье Шостаковичей в тяжелые, голодные военные годы (помогал он также и Прокофьеву, Мясковскому, Хачатуряну), в конце 40-х годов издавал фортепианные аранжировки старых пьес, балетных номеров и вообще был вхож в семью на правах друга. Сердобольный Дмитрий Дмитриевич, естественно, не сумел отказать другу, который попал в беду; он не раз с риском для самого себя хлопотал за арестованных, осужденных, сосланных, порою почти незнакомых...

А уступчивость, склонность к компромиссу — разумеется, преимущественно там, где речь шла о вопросах принципиально незначительных, — была вполне в его характере. (Исключение — Двенадцатая симфония, которая никак не клеилась, в течение нескольких лет он начинал и бросал ее, когда же пристали «с ножом к горлу» — накатал за две недели, крайне слабую, кинематографически-иллюстративную.) Пример компромисса, пустяшного и вместе с тем типического, — историйка с опусом Л. В. Данилевича<sup>4</sup>, автора плохонькой книжонки о Дмитрие Дмитриевиче.

Опус этот, смело названный «симфонией», прослушивали на заседании симфонической комиссии Союза композиторов, председательствовал Н. И. Пейко<sup>5</sup>, играли в 4 руки М. Вайнберг<sup>6</sup> и М. Меерович<sup>7</sup>. Впечатление — чудовищное графоманство, сумбурная, перегруженная нотами фактура, язык — смесь скрябинизмов и оборотов советской массовой песни. Присутствовавшие еле-еле вытерпели, чтобы не рассмеяться, демонстрируя напускное внимание.

Музыка кончилась. Шостакович вскакивает и торопливо, слегка заикаясь произносит: «Извините, спешу, должен уйти, поэтому первым, первым беру слово. Хочу поздравить Льва Васильевича, очень хорошее, замечательное произведение, необходимо исполнить, обязательно необходимо исполнить. И издать партитуру!» Быстро исчез, оставив присутствующих в шоке. Гробовая тишина. Пейко натужным, фальцетным голосом говорит: «Товарищи, если нет больше желающих высказаться... нет? Нет? Тогда, думаю, все ясно, ведь вот Дмитрий Дмитриевич высказался, можно считать обсуждение состоявшимся, а заседание комиссии на этом закрыть». Так и сделали.

Разумеется, Данилевич долго и нудно упрашивал Дмитрия Дмитриевича поддержать его творение, и тот согласился, поскольку не видел в этом ни малейшей опасности для советского музыкального искусства. Никто никогда не исполнит и тем более не напечатает подобную ахиною. А Данилевичу, субъекту в общем безвредному, была так приятна его похвала...

*«Я совершенно, совершенно счастлив!»*

Осень 1955 года. В Ленинграде должна состояться премьера Первого скрипичного концерта. Автор, столько лет не выпускавший в свет этого произведения, очень волнуется — ведь предшествующие значительные премьеры (Прелюдии и фуги, Десятая симфония) вызвали злобные выпады поборников «социалистического реализма» и принесли Шостаковичу немало горьких обид; волнуется Е. А. Мравинский, который потратил на подготовку не меньше оркестровых репетиций, чем на монументальные симфонии; солист, Д. Ф. Ойстрах, крайне обеспокоен судьбой концерта, приемом со стороны публики и прессы, он долго работал, «вживался» в свою партию, пока бесповоротно не влюбился в эту гениальную музыку. Волнуются и друзья-поклонники, целой группой собираясь ехать в Ленинград.

Журнал «Советская музыка» командировал меня на премьеру, чтобы рецензировать ее. Я уже имела случай заглянуть в клавиш и послушать пробу дома у Шостаковича, когда Давид Федорович (под рояль, с В. Ямпольским<sup>8</sup>) впервые проигрывал Концерт автору. Кстати, любопытный был разговор: например, Давид Федорович посоветовал дать главную тему в начале финала звонкому медному инструменту, а тембр скрипки — поберечь, и Дмитрий Дмитриевич сразу согласился.

Вечером 29 октября Большой зал Ленинградской филармонии переполнен, атмосфера праздничная, приподнятая. После исполнения — громовые овации, восторги, бесконечные вызовы автора, солиста и дирижера. Триумф, да какой! Возвращаясь в гостиницу «Европейская», у лифта встречаю компанию из четырех человек: супруги Гликманы, Галина Уствольская и Дмитрий Дмитриевич, который радушно просит зайти в его номер «отметить, понимаете ли, отметить событие», — «Спасибо. Конечно, сейчас приду, с удовольствием, благодарю...»

В действительности мне надо уладить довольно неловкую ситуацию, поскольку раньше, днем, Д. Ф. Ойстрах уже пригласил поужинать с ним; бегу, оставляю для него записку у горничной, объясняющую дело. Хорошо бы, разумеется, деликатно навести Дмитрия Дмитриевича на мысль *объединить* импровизированное торжество. И когда он начинает говорить, как «гениально, необыкновенно, великолепно» играл солист, я эту мысль осторожно подбрасываю, Шостакович принимает ее с энтузиазмом, звонит

по телефону — увы, Давид Федорович еще не вернулся; должно быть, взмокший, переодевается в артистической.

Тем временем в номере Дмитрия Дмитриевича приготовлен «пир»: из двух больших бумажных пакетов вытряхнули каменно-твердые, черствые пирожки, купленные на улице, и не менее твердые, несъедобные зеленые яблоки. Это закуска к водке, которую и разлить некуда, не хватает стаканов, используем опрокинутую стеклянную пробку графина и пластмассовые стаканчики из ванной. Дмитрий Дмитриевич, со стаканом в руке, быстро расхаживает по комнате, приговаривая: «Я так рад, так рад, так счастлив, совершенно, совершенно счастлив...». Чокнулись, выпили, хозяин трогательно благодарит «всех, всех, всех», пьет за здоровье дам, опять ходит туда-сюда, порой цепляясь ногами за ковер. Надкусил пирожок-камень, не справился с ним, опустил на столик. Потом внезапно умолк, рухнул на расположенную в нише-алькове кровать и жалобно, детски беспомощно произносит: «А теперь вы все, пожалуйста, уходите, я ужасно устал, спать хочу, спать...» Мы, естественно, спешим удалиться, прощаемся. Он не отвечает.

Когда я рассказала Давиду Федоровичу об этом курьезном «пиршестве», тот испуган: «Боже, Дмитрий Дмитриевич ведь абсолютно голодный, весь день ничего не ел, необходимо вытащить его ко мне, тут столько чудесных блюд!» Звонит, Шостакович, как ни странно, берет трубку, но отнекивается: «Уже лег в постель, без сил, просто без сил...» Видимо, перенесенное нервное напряжение было чрезмерным.

(Много лет спустя, в декабре 1966 года Гарик Ойстрах<sup>9</sup> играл Первый концерт в Москве, в Большом зале и, встретив Давида Федоровича в Консерватории, я докладывала ему о своем впечатлении: на мой взгляд, у Гарика получилось бережнее, серьезнее, чем у Когана, который больше стремится блеснуть, показать себя, но недостаточно философски глубоко, драматично. Давид Федорович улыбнулся, — «Знаешь, после недавнего исполнения Дмитрий Дмитриевич подошел и сказал: “Понимаете, я вот, оказывается, написал Концерт для одного только скрипача, для Вас. Да-да, это концерт для единственного исполнителя, другие не все понимают”».)

### **В дни «оттепели»**

1956 год, февраль или март. Что-то понадобилось согласовать с Дмитрием Дмитриевичем для журнала «Советская музыка», членом редколлегии которого он состоял. И вот я у него, в квартире дома на Кутузовском проспекте. Очень просторный кабинет с двумя

роялями, украшенный картиной работы Вильямса<sup>10</sup>: ослепительно розовая, почти голая «Нана». На письменном столе — разложенный пасьянс (прерванный моим приходом), любимое занятие, способ снять нервный стресс. Дмитрий Дмитриевич мрачен и возбужден более обычного, торопливыми шагами мечется по комнате из угла в угол. Коротко здоровается, просит меня сесть и начинает говорить, сперва отрывистыми фразами-восклицаниями, потом, разгорячась, сплошными, лихорадочно-бурными периодами. Кажется, будто говорит сам с собой, лишь изредка останавливается, адресуясь ко мне, но не ожидает ответной реплики.

— *Меня тут вызвало одно «высокое» лицо. Их, видите ли, интересует, как бы это немного «поправить» знаменитое Постановление ЦК 1948 года. ПОПРАВИТЬ!!! Поправить то, что проводило в могилу Мясковского, надломило Прокофьева, отравило многих молодых, талантливых музыкантов, дало дорогу разной дряни... Знаете, я был у Николая Яковлевича буквально накануне его смерти, дня за два, он лежал страшно исхудалый, бледный, слабый и вдруг спрашивает тихим-тихим голосом: «Я вот лежу и думаю, неужели все, чему я учил и что делал — антинародно? Может быть, есть в этом какая-то горькая правда и мы действительно ошибались?» Понимаете, этот скромнейший, благороднейший человек умирая мучился, серьезно искал крупницы истины в гнусном, неграмотном документе, терзался сомнениями!!!*

*Я и ответил «высокому» лицу — нет, ничего нельзя «исправить», надо отменить, только ОТМЕНИТЬ! Отменить категорически, как тот подлый, бесчеловечный закон о запрещении аборт, который стоил жизни тысячам, сотням тысяч женщин. Они спицами вязальными себя ковыряли, гибли, калечились, потому что время было трудное, голодное, они не хотели и не могли плодить голодных, брошенных детей...!*

(Тут монолог ненадолго прерывается, Дмитрий Дмитриевич задумался.)

— *Тогда, в 1948 году, велели нам, «формалистам», выступить с самокритикой на собрании в Союзе композиторов. Не надо было приходить. Прокофьев умнее, отписался, прислал письмо — суховатое, холодное, но вроде согласен, что допускал некоторые ошибки; начальство это письмо не удовлетворило, конечно. Мясковский уже слег и на собрание не явился. А я вот — пришел. Объявляю мою фамилию, чтоб буду говорить — понятия не имею, знаю, что необходимо каяться — отговарюсь как-нибудь. Иду из зала к три-*

буне, по дороге (знаете, там справа лесенка и загородка) некто\* ловит меня за рукав, сует мне бумагу: «Возьмите, пожалуйста»... Сперва я не понял, в чем дело, он объясняет шепотком, этак ласково, снисходительно, покровительственно: «Тут все написано, зачитайте, Дмитрий Дмитриевич».

Вылез я на трибуну, стал читать вслух кем-то состряпанный гадкий, глупый бред. Да, читал, унижался, читал эту якобы «свою» речь — читал как последнее ничтожество, совершенно как пац, петрушка, кукла картонная на веревочке!!!

Последнюю фразу он выкрикивает с остервенением, яростно, несколько раз повторяет. Сижу потрясенная, ошеломленная, и в памяти невольно всплывает и это собрание (я была в зале), и речь Шостаковича, и маленький эпизод, ножом полоснувший по сердцу. Читая унижительные самообвинения, после слов «антинародная музыка». Дмитрий Дмитриевич вдруг на минуту оторвался от текста, поднял голову и как-то грустно, устремив близорукие глаза в аудиторию, беспомощно выговорил: «Мне всегда казалось, что если я пишу искренне, пишу то, что чувствую, это не может быть “против” народа, что я — ведь тоже и сам — хоть немного — народ...»

О рассказанном в 1956 году я отчетливо вспомнила в конце 60-х, пытаюсь добраться до смысла второй темы Аллегретто Десятой симфонии, мотива монограммы D-Es-C-H. Он звучит странно-механически, мертвенно, назойливо, словно композитор со страхом и примесью гадливости видит себя марионеткой, «куклой на веревочке», которую властно дергают неумолимые руки Хозяина Балагана. (Аналогия «Петрушке» Стравинского...) Подтверждение нашлось случайно в работе некоего И. Ермакова<sup>11</sup>: Очерки по анализу творчества Гоголя (М.—Пг.: 1923. Серия Психоаналитическая библиотека. То есть советский фрейдизм, вскоре прихлопнутый властями). Там речь идет о патологических склонностях Гоголя, в частности, к продолжительному созерцанию себя в зеркале, сосредоточении на себе, *повторении многократном своего имени*, связанном с чувством чуждости, странности, омерзения по отношению к себе. Эту цитату я ввела в главу о Десятой симфонии, но ее издательство варварски урезало, так как наш знаменитый поборник «соцреализма» Б. М. Ярустовский<sup>12</sup> донес о моей «крамоле»: *не может великий советский композитор испытывать такие нелепые, болезненные эмоции...*

\* «Некто» — довольно крупный партийно-правительственный чиновник, в те годы сделавший быструю карьеру.

*«Художник не должен жениться!»*

1958 год, 5 марта. Сегодня, по случаю пятилетия со дня смерти Прокофьева, будут торжественно открыты мемориальные доски на домах, где он жил в Москве. У дома на улице Чкалова 14/16 (откуда Сергей Сергеевич уехал ранней весной 1941 года, чтобы соединиться с Мирой Александровной) митинг возглавляет Т. Хренников, личный друг первой жены Прокофьева, Лины Ивановны, у дома в проезде МХАТ — Шостакович. Здесь находится квартира родителей Миры, здесь Прокофьев и скончался.

День яркий, солнечный, но холодный, мороз градусов 12–15, дует резкий ветер. Я прибегаю ровно к сроку, в 3 часа пополудни, разумеется, на проезд МХАТ. Увы, Дмитрий Дмитриевич, одержимый щепетильной сверхаккуратностью, всюду и всегда является заблаговременно и, верно, давно уже мается на морозе, хотя одет почему-то чересчур легко: черное драповое (осеннее?) пальто, фетровая шляпа. Вид у него несчастный, продрогший, лицо серо-синеватое. Народу собралось маловато, и он торопливо бормочет мне: «Марина Дмитриевна, пожалуйста, я вот только отворю, что следует, начну митинг, давайте сразу побежим наверх, к Мире. Она уж конечно приготовила выпить и закусить, а то я озяб совершенно, ну совершенно как собака». Так и сделали. Сказав свое вступительное слово, он отходит в сторонку и, прижимаясь к стене, неприметно кивает мне головой, и мы вдвоем устремляемся по лестнице. Дверь гостеприимно отперта, столы уставлены вкусной едой, и Дмитрий Дмитриевич тотчас садится, наливает водку, приговаривая: «Скорей, скорей, просто необходимо скорей согреться!»

Выпил, немного ожил, однако выглядит сильно подавленным, угрюмым. Пытаюсь его расшевелить и спрашиваю: «Вы чем-то расстроены?» — «Да, да, именно расстроен, такая, знаете, ужасная гадость! Меня только что вызвали в высокие инстанции. (Интонация ядовитая, саркастическая, жест рукой к потолку.) Советовались насчет заявления Лины Ивановны, она им туда написала, все время пишет в разные органы власти. Дескать Мира была просто незаконной связью, а она, Лина, единственная полноправная, законная супруга и наследница; ну, об этом она давно хлопочет, главное — новые, великолепные, потрясающе убедительные аргументы!

Во-первых, она будто бы может доказать, что еще с 1935–1936 года Сергей Сергеевич был полным импотентом, стало быть, брак

с Мирой — фикция; пусть спросят у врача, к которому бедная Лина водила его на консультацию, врач подтвердит. Во-вторых, когда они переезжали в СССР, не были соблюдены какие-то формальности, юридические заковыки, следовательно, Прокофьев не являлся настоящим советским гражданином и здешний его брак — недействителен. Вот вам и знаменитый *советский композитор* Прокофьев! Вообще женщины — пакость, пакость страшнейшая!!!»

Хочу немного успокоить, отвлечь и говорю с юмором, не без кокетства: «Помилуйте, Дмитрий Дмитриевич, и я, кажется, *женщина...*» Он ненадолго затихает, извиняется («Простите, простите, я не вас имел в виду...»), залпом опрокидывает еще одну рюмку. Помолчав немного, произносит сначала жалобно, но постепенно вновь свирепея: «А что, если разобраться, я ведь тоже почти импотент или вроде того. Я вот помру, и мои бывшие жены придут гадить на мою могилу, лить грязь на мое имя... Нет, нет, художник не должен жениться, не должен жениться совсем!!! Лучше не надо!»

Любопытная деталь. На доме по улице Чкалова среди прочих (в этом доме проживало немало знаменитостей — писатель С. Я. Маршак, Г. Г. Нейгауз, Д. Ф. Ойстрах и др.) красуются две мемориальных доски: массивный, литой из бронзы овальный портрет-барельеф с надписью: «Здесь жил *великий* летчик нашего времени Валерий Чкалов» и скромный, псевдомраморный прямоугольничек: «Здесь жил *выдающийся* советский композитор С. С. Прокофьев».

### О детях и прочем

1961 год, апрель. Обычно в поездках по стране Дмитрия Дмитриевича сопровождает Иван Иванович Мартынов<sup>13</sup>, помогая готовить тексты докладов, выступлений, резолюций и т. п. Но Мартынов заболел, ехать в Новосибирск не может, и мне передали личную просьбу Шостаковича взять на себя эту роль. Еще, помнится, с нами летел Глеб Щепалин, неудавшийся скрипач, который делал административно-аппаратную карьеру и тогда был секретарем Союза композиторов РСФСР.

В самолете наши места рядом, и я спрашиваю: «Дмитрий Дмитриевич, как поживают ваши дети?» — «Дети, дети! Маленькие дети спать не давали, взрослые — жить не дают! Вот Максим увлекается джазом, эстрадой, все время запускает в своей комнате какую-то пошлейшую, дрянную музыку на полную громкость. Из-за этого мне очень трудно работать, просто дышать, существовать трудно...» — «Но ведь Максим собирается стать пианистом?» — «Собирается,

да-да, не знаю только, что получится. Хорошую, настоящую музыку он не любит, просто терпеть не может...»

В Новосибирске довольно холодно и голодно. Мои попытки купить что-нибудь для коллективных завтраков и ужинов принесли мало толку (кефир, черствые булочки). Но в домах принимают нас очень тепло, часто зовут в гости и кормят с размахом истинно сибирским, купеческим: пельмени, пироги разных сортов, икра, лососина... Выразив восторг по поводу роскошного стола, любопытствую, где удалось достать все это. Хозяйка, супруга одного здешнего композитора, гордо раскрывает секрет: «Пошла в Обком партии, говорю, надо мол принять самого Шостаковича, лауреата таких-то и таких-то премий. Отвечают: понятно. Дали разовый пропуск на обкомовскую продуктовую базу: бери, что угодно, и цены дешевые».

Дмитрий Дмитриевич ест с аппетитом, хвалит пельмени и мастерицу-хозяйку, явно развлекается обстановкой. Кто-то затянул народную песню, он подхватил, начал придумывать подголоски, вовлек меня — и мы долго пели одну песню за другой, импровизируя как Бог на душу положит. Пели нестройно, с уймой фальшивых нот, и я думала, что это должно царапать его тончайший слух. Но нет, он скорее искренне забавлялся, азартно шалил, включившись в некую игру.

Вообще он был очень веселым в эти дни. Особенно он оживился на репетиции Сибирского народного хора — репертуар заурядный, голоса посредственные, но старались вовсю, чтобы понравиться сиятельному гостю. Шостакович же вертелся, улыбался и все спрашивал: «Правда, эта вот, третья слева, блондинка прехорошенькая? А что, не жениться ли мне на ней, а?». Об этой милой, свеженькой молодке он вспоминал и на обратном пути в Москву: «Славная такая, а я один, один, пуговицу некому пришить!» (пуговица на пальто и впрямь оторвалась, я ее пришила свободным вечером в гостинице, во время очередного визита Дмитрия Дмитриевича в мой номер, где он и его спутник Щепалин по традиции угощались кефиром).

Были мы и на кладбище, на могиле Ивана Ивановича Соллертинского. Могила выглядела прилично, ухоженно (нарочно прибрали или всегда так?), но несколько казенно. Дмитрий Дмитриевич стоял тихий, молчаливый, замкнутый. Мне показалось, его тяготит присутствие чужих, посторонних людей, корбит и подобие официального церемониала, который, наверное, плохо вяжется с образом близкого, дорогого ему блистательного человека, любимейшего друга молодости.